

Николай Семёнов<sup>1</sup>

## Abstract

The article considers three constructive elements of the social life – the imaginary, the gift and the fight. The author brings into question the structural understanding of the imaginary, pointing at its fluctuating character. Addressing the question of the correlation of the real and the imaginary the author states a hypothesis of existence of a transit zone between the real and the imaginary. The text points out a subtle connection between the collective imaginary and the openness to the gift. In this connection two dangers menacing the life of the community (that is a weakening of our power of imagination and the degradation of the gift) is discussed. The phenomenon of the fight becomes a subject of discussion within the statement that it is possible to judge about the society basing on the type of the fight that develops in this society, by what means it is conducted, who and to what extent is involved in it. It is important for the author to show that the community is always an interweaving of positive and negative interdependence.

**Keywords:** community, the imaginary, gift, struggle.

Предлагаемый текст не претендует на то, чтобы называться статьей. Это, скорее, «рабочие записки», в которых я пытаюсь наметить пути для анализа *воображаемого, дара и борьбы* – трёх конститутивных элементов социальной жизни – в их взаимосвязи.

## 1. Сообщество и воображаемое

Что, собственно, производит работа воображения? Каково воображаемое современных сообществ? Какова сила воображения данного сообщества и от чего это зависит? Она сильнее в тоталитарных и авторитарных режимах, где, кажется, играет компенсирующую роль в условиях несвободы, – или в демократических, где именно свободой и подпитывается? С каким коллективным воображаемым имеет дело наше общество? Как это воображаемое воздействует на его, сообщества, жизнь? – Мне любопытны эти вопросы; может быть, слово «любопытный» здесь не вполне уместно (пожалуй, оно может показаться несколько легкомысленным). Что же, скажу так: они для меня важны. Почему же?

<sup>1</sup> Николай Семёнов – кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения Института теологии имени святых Кирилла и Мефодия при Белгосуниверситете (г. Минск, Беларусь).

Итак, я предлагаю три разворота (как увидим далее) темы общества. И первый из них касается Воображения.<sup>2</sup> Социальная жизнь невозможна без работы воображения. Без него не создаются утопии, проекты, идеальные образы, матрицы надежды и утешения. Возможно (как я лично и полагаю) воображаемое так или иначе вплетено во все «клеточки» социальной материи.

Сразу же, впрочем, отметим: коллективное воображаемое – сложный продукт и может быть при этом внутренне противоречивым. И о нём нельзя сказать «моё» или «наше»; это не собственность, а, скорее, сила, связывающая людей, их сознания, незримыми нитями. Например, воображаемое средневекового общества опиралось на представления о Боге и дьяволе, смертном грехе (теология, как известно, различала грехи прощительные, тяжкие и смертные) и непрощаемой вине, аде и рае. Всё это переживалось непосредственно, на уровне самой телесности, и коренилось в бессознательном. Совсем не так, как у современного «просвещенного» верующего. Воображаемое нашего макросообщества (я предлагаю различать микро- и макросообщества) структурировано по меньшей мере тремя противоречивыми составляющими: национальная самобытность, которую так старательно сегодня подчёркивают; европейская принадлежность, европейская самоидентичность (при всех разговорах о «славянском единстве» мы не хотим, да и не можем отказаться от утверждения, что «мы – европейцы»); советское наследие, причудливо преломляемое через наши современные реалии. Ещё одно воображаемое (постоянно воспроизводимое в известных празднествах), связано с Победой. Культивируется безусловность и даже святость чувства того, что Победа, одержанная нашими отцами, – это и наша победа, мы её законные наследники; они, наши деды и отцы, были победителями, значит, мы тоже (как бы «автоматически») уже есть победители. Таким образом, это воображаемое говорит нам о том, что победа передаётся по наследству.

Но воображаемое, вообще говоря, может быть развёрнуто в трёх плоскостях: то, которое держит нас в своём плену; направляющее воображаемое, с опорой на которое мы общаемся и действуем; наше свободное сотворение воображаемого. Стоило бы, я думаю (к сожалению, здесь для этого нет места), поразмышлять и над этой «триадой»: воображающее/воображаемое/воображение.

<sup>2</sup> О Воображении следует посмотреть не только *Критику чистого разума* Канта (раздел трансцендентальной аналитики), но и хотя бы следующие работы: Метц К. *Воображаемое означающее. Психоанализ и кино*, Санкт-Петербург, 2010; Лакан Ж. *Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа*, Москва, 1999 (там есть раздел «По ту сторону Воображаемого – Символическое, или От маленького другого к Большому»); Голосовкер Я.Э. *Имагинативный абсолюте*. Москва, 1961 (имагинация: от лат. *imago* – образ, творческое воображение); Федье Ф. *Воображаемое. Власть. В: Франсуа Везен. Франсуа Федье. Философия французская и философия немецкая*. Москва, 2002.

Отметим также и двойственность воображаемого: это то, что позволяет творить в рамках сообщества (и значит, поддерживать его); но это и то, что определённым образом ограничивает деятельность сообщества. Не позволяет ли нам данный концепт различать и два вида творчества? А именно: творчество в рамках данного коллективного воображаемого – и осуществляющего прорыв за эти рамки. Всякое сообщество нечто изобретает; можно даже судить о нём по его изобретениям. Но изобретения ведь тоже в значительной степени определяются силой воображения и горизонтом доступного нам воображаемого.

Я, далее, полагаю, что воображение не проистекает из языка. Воображение предшествует языку и без него язык мёртв. Можно допустить, что закономерность такова: слабеет воображение – чахнет и вырождается язык. Само собой, сообщество невозможно без языка. Философия XX века с её так называемым «лингвистическим поворотом» разве что только не обожествила язык (границы моего языка есть границы моего мира; язык есть дом бытия; или ещё у Хайдеггера: язык не может иметь основание, ибо основание – это он сам). Как будто бы языку доступно всё, что только вообще может быть доступно. Но как замечает Паскаль Киньяр в своём последнем романе *Тайная жизнь*, «из слов лица не выстроишь. Жизнь может обойтись без языка. Слово – роскошь, без которой жизнь возможна. Когда мы говорим – это не истоки в нас говорят, это мы сами приукрашиваем их, сами разливаемся, растекаемся, превращаем их в заслон против изначального замысла»<sup>3</sup>. А потому нет – и никогда не будет – «чистой общестственности» без какого-либо «антиобщественного элемента». Отсюда, между прочим, следует недостаточность одного лишь юридического понимания преступления как такового.

И другое следствие, если угодно. Развивать силу воображения под опекой общестственности и только (школы, воспитательные учреждения, всякого рода союзы и объединения, телевидение, журналы и прочее) – просто смешно. Всё перечисленное прежде всего нормирует. Воображение же в известном смысле – это взрывная и, значит, «антиобщественная» сила. И тем не менее необходимая обществу, как витальность необходима возвышенности духа (вспомним Макса Шелера). Воображение, видимо, не творит социальное непосредственно, скорее оно «лежит» (работает) в его подоснове. Таким образом, мы приходим к парадоксу: так называемая стабильность общества зиждется на взрывоопасном материале. – Итак, с воображением в общественное входит опасное, необычное и необычайное. Сила воображения парадоксальна, она позволяет присутствовать тому, чего здесь нет. Вообще говоря, есть *три* силы, поддерживающие и терзающие нас: память, обращённая в прошлое (в своей автобиографической книге *Луковица памяти* Гюнтер Грасс – различая, между прочим, память и воспо-

<sup>3</sup> Киньяр П. *Тайная жизнь*, Санкт-Петербург, 2013, 63.

минания, – пишет: «У луковицы не одна пергаментная кожица. Их много. Снимаешь одну – появляется новая. Если луковицу разрезать, потекут слёзы. Луковица говорит правду только при чистке»<sup>4</sup>; воображение, обращённое в будущее; созерцание, как кажется, безнадежно пытающееся схватить настоящее. Во-ображение: от слова «образ», а «образ намного древнее слов» (Паскаль Киньяр).

Если говорить о нашем реальном и нашем воображаемом существовании, то второе вряд ли удастся вывести из первого; скорее даже наоборот. Моё воображаемое существование запечатлевается на реальном, и в результате образуется весьма сложный симбиоз того и другого. Поэтому-то слабой силе воображения обычно сопутствует скудость реального (существования), его смысла и устремлённости. Парадокс в том, что воображаемое тем не менее в принципе нереально; загадка (а может быть, тайна) в этом и заключается: как оно (воображаемое) влияет на реальное и, более того, присутствует в нём самом. При этом мы можем различать воображаемое личное, характеризующееся той или иной степенью интимности, – и коллективное, в котором выражается то, что мы называем «социальностью». Между тем и другим возможно некое «переключение» (увод в сторону, *se-ducere*). А то, что недоступно даже воображению, – невообразимое? Есть ведь и несказанное или то, что древнее языка; быть может, там и таится исток нашего воображения? И не должны ли мы различать то, что поражает наше воображение (всегда можно спросить: почему?), – и нас самих, поражённых, когда мы начинаем мыслить и жить по-другому. И тогда в сообществе происходит некий сдвиг, который лишь впоследствии начинает ощущаться.

Но разве воображение не держит нас в рабстве? Не кристаллизуется ли здесь то, что изначально управляет нашей жизнью – и от чего надлежит оторваться, если хочешь быть свободным? Воображение как-то связано (должно быть связано) с замороженностью. Оно создаёт образ или образы, которые нас завораживают. Но ведь нельзя жить в состоянии постоянной замороженности; как же освободиться от чар этого образа? Либо запрет, погребение в немоте и ненаглядности; либо раз-облачение (через осмеяние, иронию, аналитическую критику, генеалогическое исследование и т. п.; всё это, таким образом, и социальные практики, и личностные пред-приятия); либо любовь (которой разве соответствует хоть какой-то адекватный образ?); либо вера, которая сжигает все образы, кроме одного-единственного, выше всех остальных, кроме Прообраза. (Кстати, многими высказывается мнение, согласно которому наш – «ваш мозг не видит разницы между миром внешним и миром вашего воображения» (Джон Диспенза); и «вне нас нет никакого “там”, независимого от того, что происходит “здесь” – в нашем воображении» (Фред Алан Вольф).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Грасс Г. *Луковица памяти*, Москва, 2008, 10.

<sup>5</sup> Цит. по: Арнти У., Чейс Б., Висенте М. *Кроличья нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной*, Москва, 2011, 88–89.

И всё же обычно одни из нас держатся за приоритет реальности над выдумкой и стремятся показать жизнь как она есть. Другие отстаивают приоритет воображаемого, которое побуждает идти нас в сторону неведомого и которое неким не очень понятным образом тесно сплетается с реальностью, так что «на самом деле» мы живём в воображаемо-реальном мире. Всё это, разумеется, имеет свои следствия. Вероятно, важно осознать следующее: воображение – никогда не застывшая, но текучая горячая лава (и следовательно, вряд ли может быть описана в терминах структуры); в его движении мы рождаемся заново – и постоянно; и в его (воображения) движении выражается, быть может, бесконечная игра нашего существования. Но есть и опасность, которую Витольд Гомбрович где-то (кажется, в своём *Дневнике*) обозначил так: «Мы задыхаемся и захлёбываемся в тесном, узком, жёстком воображении о нас другого человека»<sup>6</sup>. И не должны ли мы признать ещё и некую размытую, смутную транзитную зону – между реальным и воображаемым? Ни то, ни другое, но всё же каким-то образом причастное и тому, и другому. Полу-реальное, полувоображаемое? Такие гибриды возможны?

## 2. Сообщество и дар

Язык дара изначально есть язык религиозный, сакральный; лишь позднее он подвергся секуляризации и, если так можно здесь выразиться, социализации. При этом дар, *во-первых*, всегда был связан с жертвенностью и, *во-вторых*, требовал ответного явного дара (или, по крайней мере, неявно обязывал к таковому). В языческих религиях богам приносились дары, в ответ на которые боги тоже изливали свою милость на землю. С даром также связано двойное: способность и умение приносить дар (дар, преподнесённый неправильно, не может быть принят) – и способность и умение принимать дар. Печально, когда человек не умеет принять, принимать самые ценные дары и дары вообще.<sup>7</sup> – Итак, вам дарят нечто, и это обязывает к ответному дару. Но, допустим, вам нечего подарить в ответ, подарить нечто равноценное. И вы попадаете в странную зависимость; дар превратился в орудие власти.

Дар противостоит утилитаризму обмена и основан на взаимности. А точнее, он сам эту взаимность и учреждает. Мы, пожалуй, можем говорить об особой экономике дара, не ориентированной на прибыль, но на нечто иное. На что же именно? – На установление и поддержание тех внутренних связей, которые, собственно, и конституируют сообщество не в порядке одной лишь общей пользы, но некоего сродственного единства. Польза – это всего лишь польза, а последнее (то есть указанное только что единство) определяет

<sup>6</sup> Цит. по: Ермонский А. Тревожное обаяние пана Витольда. В: Гомбрович В. *Фердидурка*, Санкт-Петербург, 2000, 14.

<sup>7</sup> По этой теме см. прежде всего классическую работу: Мосс М. Очерк о даре. В: Мосс М. *Общество. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии*, Москва, 1996.

ту радость совместного присутствия, без которой общество рано или поздно превратилось бы в род тюрьмы (с желанием сбежать из неё). Мы уже говорили о двояком смысле слова 'дар': дар, который я приношу другому или он – мне; его надо уметь принять. И дар в смысле твоего таланта, твоей способности – и их, этот талант и эту способность, – надо суметь реализовать, проявить. Тут, кстати, тоже может участвовать работа воображения.

Дар может быть утрачен – и ничто не сможет его возместить. Ибо «дар одного существа другому, вплоть до самозабвения, подобен передаче тепла, и солнца, и света»<sup>8</sup>. Вообще мы могли бы говорить (разумеется, помимо прочих) о *трёх* важных видах связи в сообществе: двух «позитивных» (через общее коллективное воображаемое и благодаря взаимности дара) и одной «негативной» (отношения, возникающие в борьбе и через борьбу). Дар обязывает, призывает и даже принуждает к ритуалу, который можно рассматривать как упорядоченную и действенную совместность. И «там, где нет ритуала и обрядов, начинается истерия, то есть индивидуальный фольклор, создаваемый каждым из нас»<sup>9</sup>.

Дарить и получать дары от других – ни с чем не сравнимая радость, придающая особую полноту нашему существованию. Ведь в даре выражено признание и призыв, который можно выразить одним словом «Живи! не умирай! ты важен для нас!»; дар – это своего рода инъекция в нас энергии той бескорыстной щедрости, которая, быть может, выражает саму квинтэссенцию человеческого в нас. Пафос этих слов выражает на самом деле нечто очень серьёзное для сообществ, и современных сообществ в особенности. Способность дарить, желание дарить, культура дарения – насколько они всё ещё значимы в нынешних коммерциализированных структурах, где дар – это подарок, имеющий свою цену, соответствующую статусу, престижу одариваемого, социальному стандарту и соображениям собственной выгоды (например, личного продвижения)? Нынешний ритуал одаривания потерял некую внутреннюю сакральность, причащавшую нас некогда к чему-то высшему (я обозначил бы это левинасовской категорией «выси»), которое предустанавливало значимость всего того сущего, с коим мы имели дело. – Значит, вот *две* (как минимум) важные вещи для живого сообщества: наше коллективное воображаемое – и наша открытость дару. И, следовательно, две опасности: ослабление нашей силы воображения, деградация дара – и как личной способности, бескорыстного желания дарить, и как социального института.

### 3. Сообщество и борьба

Речь пойдёт не об индивидуальной борьбе, поле и возможности которой сами так или иначе определены борьбой партий, органи-

<sup>8</sup> Киньяр, указ. соч., 185.

<sup>9</sup> Гретковска М. *Метафизическое кабаре: Роман. Рассказы*, Санкт-Петербург – Москва, 2003, 134.

заций, движений. Последние же борются за политический, культурный, социальный престиж, то есть за ту позицию, которая даёт наибольший символический капитал и доминирование, что позволяет именно этому движению определять общие цели и этические нормативы данного сообщества. Вопрос заключается в том, борются ли различных движений конституирует сообщество, или, наоборот, данное сообщество определяет то, какие движения появятся на политической, социальной сцене, а равно и сам характер их борьбы. Борьба – это значит, что со-общество вовсе не есть некая благодатная форма со-бытия (солидарность, сотрудничество, сочувствие и т. д.); здесь всегда будут победители и побеждённые, что создаёт перекрёстную сеть отношений: между победителями (как они разделяют свою победу), между победителями и побеждёнными (какова будет форма доминирования), между самими побеждёнными (здесь есть своё неравенство: одни из них ближе к победителям, другие радикально отвержены). Что касается политических, социальных, любых вообще движений, то они предполагают наличие лидеров и достаточно радикальной идеи, которая ими продвигается, а также симпатизирующих ей людей, воли к её реализации и определённой организации (но не столь жёсткой, как в идеологических системах, а более мягкой и гибкой).

Итак, любое сообщество пребывает в состоянии внутренней борьбы той или иной степени напряжённости. Борьба – что не значит обязательно война. Дабы борьба превратилась в войну, необходимы как минимум *три* операции: концентрация борьбы – её глобализация – и её острая поляризация (наличие двух враждебных лагерей).<sup>10</sup> Если солидарность, сотрудничество определяют связность сообщества, то борьба – его внутренний тонус, степень напряжённости, диалектику его динамики. Поэтому о сообществе можно судить по тому, какая борьба в нём разворачивается, какими средствами и методами она ведётся, кто и насколько в неё вовлечён.

И поэтому же мы должны как-то учесть возмущения (когда говорим о «стабильности» и «Порядке»), которые присущи любой системе. Вообще говоря, нельзя обойти вопрос о том, что существует намного больше неупорядоченных конфигураций (следовательно, степень свободы здесь выше), чем упорядоченных. В сообществе последние определяются традициями и законом. При этом в случае упорядоченной конфигурации должны быть выбраны с как можно большей точностью начальные условия. Я здесь не ссылаюсь на различие интересов, а говорю о формальной стороне дела; то есть это «превосходство» неупорядоченных (в должной степени) конфигураций и необходимость выбора как можно более точных условий (забота об определённой предсказуемости) делают борьбу в любой системе неизбежной (даже при отсутствии «субъектов»). Наличие борьбы определяет присутствие неопределённости. Конечный

<sup>10</sup> О весьма необычном взгляде на войну см.: Хофмастер Х. *Воля к войне, или Бессилие политики. Философско-политический трактат*, Санкт-Петербург, 2006; а также: Трейси Б. *Победа*, Минск, 2004.

исход борьбы чаще всего непредсказуем; всегда может появиться и проявиться непредвиденное. Если мы делаем акцент на Истории («сохраним наши священные традиции» и т. п.), то мы теряем определённую в отношении Проекта (проектирование) – и наоборот. То же самое в соотношении Стабильности и Инновации. Как в этих условиях быть Власти, как ей действовать? Она желала бы одновременно и сохранения стабильности, и проведения инноваций. Обычный результат – провалы и там, и там.

С этим, по-видимому, как-то соотносится принципиальная асимметрия; пространственно-временной соответствует социальная. Асимметрия прошлого и будущего, верха и низа, правого и левого; таким образом, неверно, что «в конечном счёте», допустим, верх тождествен низу и наоборот (гераклитовская диалектика). Следовательно: прошлое не определяет будущее (по крайней мере, целиком или даже в важнейшем) – как и наоборот: то, что было, не обуславливает полностью то, что есть, и то, что будет. Равно и наоборот, имея в виду, напр., концепцию конструирования прошлого, истории, исходя из настоящего, которому принадлежит историк, – или то, что «время времени из будущего» (то есть что прошлое и настоящее «определяются» будущим). Согласно гераклитовскому взгляду, общество рождается из борьбы, а не в сообществе рождается борьба. Она там длится, ибо печать рождения неизгладима. Борьба также рождает миф; нет ни одного мифа, где вообще отсутствовала бы борьба. Сообщество, пережившее борьбу, которая и формировала это сообщество, борьбу одной силы против другой, вступает в какую-то новую фазу, и прежние мифы, питавшие его, погибают.

*Сообщество и сообщничество*: как-то они связаны, эти два феномена. В принципе, наши позиции не взаимозаменяемы. Даже в родстве связи не взаимообразны. Мы уже говорили об асимметрии; и взаимность между людьми всегда остаётся в той или иной степени асимметричной. Эта асимметрия уже сама по себе обуславливает возможность борьбы. Так, в любой семье, сколь бы прекрасной она ни была, идёт скрытая борьба, по меньшей мере, скрытая. Хотя она может маскироваться под воспитание, заботу, попечение, помощь и прочее. Однако язык толкает нас к взаимности, и потому её трудно избежать; ведь сообщество – это прежде всего язык. Но и с языком идёт борьба; об этом, в частности, свидетельствует вся история литературы.<sup>11</sup> В борьбе важен её характер; она может быть прекрасной – и может быть ужасной. Почему же она воодушевляет многих и в том, и в другом случае? Поединок Ахилла с Гектором – беспощаден и прекрасен, и нас восхищают оба героя. Между тем тело поверженного Гектора Ахилл безжалостно протасил по земле на своей колеснице. Борьба, в которой противники уважают друг друга – и борьба, в которой они ненавидят и презирают друг друга. Цель первой – чистая победа, но противнику отдают должное. Цель

<sup>11</sup> Свою борьбу с языком, к примеру, вёл такой замечательный автор, как Ив Бонфуа; см. в этой связи его *Внутреннюю область* (Москва, 2002).



второй – тоже победа, но с важной дополнительной коннотацией: унижение (и как можно большее), полное попрание противника, и это ключевой момент апофеоза собственного самоутверждения. Вопрос один: какую борьбу мы ведём? в какую ввергнуты, а не хотели бы? какая борьба разворачивается в нашем обществе – явная либо более или менее прикрытая?

#### 4. И ещё о сообществе

В XX веке в некотором роде обожествовали две «сущности» – язык и общественность. Соответственно, как мне кажется, нас преследуют, даже терзают *две* известные заботы: инаковость другого – схожесть с другим. Отсюда, между прочим, и *две* формы страха: страх быть таким же, как все; страх быть совсем иным, а тем самым, и отчуждённым в сообществе и от сообщества. И, соответственно, *две* формы желания: страх знать – и сильнейшее желание знать. Но и страх не узнать – притом что есть и «желание не знать. Страсть неведения. Экстаз и свет антагонистичны»<sup>12</sup>. (Я выделил бы «пять векторов» знания: по-знавать, со-знавать, при-знавать, у-знавать, до-знавать (дознание).) Публичное и интимное. Человек, полностью превратившийся в публичного, общественного, умирает как человек. Но вряд ли это возможно – притом что современное рыночное общество, как кажется, даже сокровенно интимное стремится представить на публичной арене. (А нынешняя публичная арена – это прежде всего экран.) Даже в самых официозных фигурах всё-таки не уничтожен некий, пусть исчезающе малый, остаток этой интимности; быть может, он тревожит их по ночам, являясь скрытой причиной их бессонницы – или их кошмаров. Быть может, говорю я, быть может.

Сообщества – от научных до религиозных, от бандитских до государственно узаконенных, – подчиняются ли они неким общим правилам, при всём их радикальном различии и противоположности преследуемых целей? В обществе всегда есть «расщелины», лакуны антиобщественного в самом же социуме. Это не монолитное тело – и не строгая иерархическая сподчинённость. Нет общества без таких «расщелин». Но они маскируются. О них обычно не говорят; делают вид, что таковых не существует. Ведь в них можно ускользнуть от власти социального. А присутствующее (хотя и заклимаемое) в нём асоциальное манит отстраниться от общества с его нормой, с его обязательствами и принуждениями делать всё и думать как надо, как положено. Ибо только тогда вы – законопослушный гражданин и «приличный человек». Заметим, что любви – как и писательству, как и мышлению – не до «приличий». Собственно, что может создать «приличный» человек? Разве что копию самого себя. Парадокс в том, что «самого» здесь как раз и нет.

И можно согласиться всё с тем же Паскалем Киньяром, что коллективные предписания позитивности, которые приняты в

<sup>12</sup> Киньяр, указ. соч., 219.

наше время, достойны лишь одного – яростного презрения. Какая скука исходит от тех, кого у нас считают «успешными». Завидная цепкость, воля, предприимчивость, но рано или поздно обнаруживаешь и изнанку: узкий мировой и личностной горизонт, банальность суждений и эту связку утилитарной деловой хватки, не лишённой цинизма, с публичной (когда приходится выступать) болтовней о «высоком» («ответственности», «духовности», «моральности» и т. п.). Когда беспощадная деловитость сочетается с морализирующим наставительством, возникает гибрид, который вызывает одновременно и смех, и презрение, и отвращение. Но это тоже вплетается в ткань социального, из неё же и возникая. Сообщество всегда есть переплетение позитивной и негативной взаимозависимости. А как же быть с независимостью? Ведь общество тоже говорит о ней. Говорит, искажая, поскольку подгоняет её под свои собственные стандарты. Тут я снова обращаюсь к Киньяру; возможно, он прав, и «нет другой власти, другого достоинства, другой роскоши, кроме достигнутой вами непредсказуемости, потому что непредсказуемость подрывает вашу зависимость от других, которая носится в воздухе, разбрасывая вокруг свои ветви, лианы, семена»<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Киньяр, указ. соч., 195.